

Игорь Сушицков

ПИСЬМО И ТЕЛЕФОН

В четверг 24 января 198^ж года сосед по квартире нашел Валерия Н., сидящим в кресле и мертвым. Рука трупа покоилась на столе, сжимая в пальцах какой-то листок бумаги. Рядом с рукой на столе лежал распечатанный конверт. С трудом высвободив письмо из смертной хватки, сосед расправил его и прочел. Прочтя письмо, сосед тут же скончался.

С тех пор к Валерию Н. заходило немало посетителей. Все они читали письмо и все к концу прочтения умирали. Прошло много лет. И вот как-то очередной посетитель прочел письмо и остался жив. Видно с годами оно утратило свою убойную силу. Как сказал бы Ю.Н.Тынянов, прием автоматизировался и перестал воздействовать на читателя. Да, так сказать, выдохся и нейтрализовался. Так что теперь письмо можно прочесть без всяких печальных последствий. Вот его текст.

"Дорогой друг!

Прости меня за долгое молчание. Я никак не мог найти в себе достаточно решимости написать тебе. Еще вчера я слышал твой голос по телефону, и мы обсудили с тобой все, что нас занимало. Так было уже много раз со времени твоего последнего письма. Что за проклятая вещь — телефон! Он разрушает связь сердец, соединяя голоса.

Не правда ли, телефон для эпистолярного искусства — то же, что фотоаппарат для искусства живописного? Мгновенная точность фотографии делает ненужной и навязчивой медлительную точность картины. То, что выверено одиночеством художника и одиночеством пишущего письмо, кажется наивным и плоским по сравнению с тем, что могут невзначай выдать фотография или интонация телефонного голоса. Чем же оправдаться письму и как заставить писать и читать себя?

И тут мы находим, что многообразие эпистолярных стилей имеет полное сходство с многообразием живописных стилей. Первый ответ — это импрессионизм. И правда, в телефонном

разговоре не отдашься на произвол потоку бессвязных впечатлений. Такую раскованность мы приберегаем обычно для разговора с глазу на глаз. В выражении глаз собеседника, в его мимике мы видим отражение владеющего нами возбуждения, и происходящий таким образом обмен флюидами сшивает расползающуюся ткань нашего повествования. Но хриплое молчание, и меканье, и беканье, и даканье, которыми телефонная трубка немедленно встречает любое уклонение от темы телефонной беседы, немедленно заставляет съехиться любую попытку развернуть некое полупрозрачное и очаровательное в своей недосказанности описание. Так прибережем это описание для письма. Белый лист бумаги — идеальный фон для воображения. Пишущий пишет не на плоском белом листе. Он пишет поверх внимательных глаз и улыбок и всех тех неуловимых выражений очарованности и внимания, которые так подстегивают рассказчика. Эти видимые свидетельства людской благосклонности и благодарности буквально заполняют в процессе письма все светящееся белизной пространство листа, почти устраняя черноту букв. Или точнее, неровные очертания пишущихся слов именно очерчивают и проявляют под рукой автора эти витающие в пространстве листа мимические знаки читательского восторга. Так будем же писать поэтически!

Но вот письмо написано, и его пора отправлять. Испещренные корявым почерком страницы трудно разобрать даже самому автору. Он живо воображает себе мучения и проклятия адресата и перепечатывает письмо. Оно выходит бессвязным, претенциозным и высокопарным. Лучше его порвать.

Второй ответ — экспрессионизм. По телефону не предашь себя душевным излияниям по той же причине, что и поэтическим описаниям. Черная трубка телефона — это еще один слушатель, даже если линия связи соединяет только двоих. Изливаться по телефону — это раздеваться при посторонних. Куда как уместнее одинокий экстаз письма. И однако, если при перечитывании давеча написанного текста отвратительно распознается поэтическое кружево, то что уж говорить о подсыхающих следах одинокой любви. Нет, экспрессионизм — это не

решение проблемы.

Кубизм? Но разве может человек со вкусом вынести все эти многоточия, все эти "Слушай, старик... Ну, вот значит...". И потом не кажутся ли тебе "Авиньонские девки" Пикассо еще древнее африканских идолов? Хотя бы потому, что они не представлены в ООН?

Сюрреализм? О, я читал все эти "...ночь. Ноги. Еще Ноги. Спаси меня! — я не могу больше среди этих Ног. Они меня топчут и, наконец, растопчут". Какой может быть сюрреализм в литературе?.. А в эпистолярном жанре тем более. Что может быть в литературе сюрреалистичней, чем прогноз погоды? Телефонный разговор сюрреалистичней любого письма, хотя бы потому, что он реалистичней любого письма.

О, я знаю, что ты мне сейчас скажешь. Я вижу тебя через разделяющее нас расстояние. Я вижу твою улыбку, которая была бы улыбкой Будды, если бы Будда носил усы. Ты говоришь, улыбаясь: "Письмо — иероглиф. Письмо — объект медитации. Абстрактное письмо. Почему ты забыл о нем?"

Да потому, хотя бы, что я потереться хочу твоим абстрактным письмом. Твоим письмом-иероглифом. Вот почему. Потому что я — не желтый и не косоглазый. Потому что не буду я жрать 50 лет один рис и растирать эту самую поганую тушь и облизывать эти самые поганые кисточки. Потому что я хочу говорить с тобой как человек с человеком, а не как нирвана с нирваной.

Я не хочу украшать своим письмом нашу с тобой телефонную жизнь. Я не хочу раскрашивать пустоту белого листа и оставлять фотографии полноту жеста. Своего жеста, между прочим. Своего жеста, и тогда, в частности, когда я раскрашиваю этот белый лист. Я ставлю вопрос: что есть письмо, в отличие от телефонного голоса? В чем его преимущество? Нет, оно не в том, что бумага все стерпит. То, что лист бумаги можно беспрепятственно заполнять всем тем, что просеяла мембрана телефонного аппарата. Пустота белого ли-

ста — не свалка для всего этого, что не удержалось в бестелесности голоса. Плоскость белого листа — не выставочное пространство для попавших в музей восковых красок. Письмо не бестелесно. Письмо — это вещь. Письмо не украшает голос; письмо убивает его.

Письма касались. По нему ползла человеческая рука, и письмо хранит ее тепло. Письмо помнито, на нем есть пятна. Письмо пахнет. Письмо пропитано испарениями дома, в котором оно написано, и дыхание написавшего его впиталось им. Голос замер и рука остановилась, потому что дыхание выпито и движение прервано силой трения.

Есть письма — бомбы. Такие письма убивают адресата. О нет, убивают не словом. Убивают взрывом. Убивают своей плотью, своей тяжестью. Мстят за свою бессловесность, за свое поражение перед телефоном.

Письмо идет долго. Оно много раз передается из рук в руки. В качестве вещи оно довольно скоро утрачивает связь с тем, кто его написал. Отчуждается от своего автора. Письму — этой бессловесной вещи — становится безразличен автор и его судьба, и это безразличие передается читателю-адресату. Что произошло с автором, пока шло его письмо? Жив ли он? Здоров ли? Не все ли равно... Читая письмо, адресат забывает о том времени, которое прошло между отправкой письма и его получением. Автор письма как бы умирает на это время, погружается в анабиоз, уходит в царство теней, появляется в абсолютном безразличии. Ты не живешь то время, пока идет написанное тобой письмо. Т.е. ты жив, но выбыл из круга живых. И в некотором смысле слова, вычеркнут навсегда, — ибо получишь ответ и напишешь новое письмо уже другим человеком — не тем, кем ты был в этом преддверии ада. Но это еще не все. Ведь только что сказано, что тебе пишут ответ. Но кому — тебе? Ты, значит, вот так и должен сидеть и ждать пока тебе швырнут в морду тебя же самого, каким ты был уже давным-давно и каким ты уже не хочешь себя знать? Какое издевательство, какое презрение — писать тебе ответ и ожи-

дать, что ты не изменился: не сошел и не сойдешь с предназначенного тебе места, а будешь сидеть на нем пайнкой!

Но нет, мой дорогой друг, ты не на того попал. Есть — только одно письмо, достойное быть письмом-вещью: это письмо-убийца. И есть только одно письмо, восстающее против приговора времени: это предсмертное письмо самоубийцы. Мое письмо — то письмо, которое ты сейчас читаешь — есть письмо наивысшего типа: оно объединяет в себе свойства двух упомянутых типов. Не говори мне, что мой замысел эклектичен. Я не начинаю эпоху. Я ее завершаю.

Когда ты дочитаешь это письмо, меня уже не будет в живых. Надеюсь, это сообщение нанесло некоторый урон твоему самодовольству: вот он мне написал, а теперь замер и сидит-дожидается, что я ему такого отвечу. Так вот: не дожидаясь. Можешь подавиться своим ответом. Но это только первая часть моего замысла.

Вторая состоит в том, что когда ты дочитаешь письмо до подписи, тебя также уже не будет в числе живых. О нет, письмо не взорвется — конечно, нет. Но оно пропитано ядом. Его белое — это яд. Его черное — это тоже яд. Его слова — это яд. И его безмолвие — это яд. Безмолвие вещи. Безмолвие письма. Молчание голоса. Отбой. Короткие гудки. До скорого свидания.

Твой И.С. "